АНТОШКА, УЧИТЕЛЬ ИСТОРИИ

Мама, живая, рассказывала на кухоньке новости. В кои веки я выбрался к родителям, был июль, в провинции навсегда установилось лето, и казалось, что вокруг пикируют не пылинки, а молекулы времени. Которых запускают из проводного радио, как из лазерной пушечки.

– Да… – вспомнила мама. – Тут такое ведь горе. Ваш Анатолий Григорьевич умер. Повесился. И так странно всё… Возвращался, видимо, из Сталинграда, в автобусе. Вышел в Тещиной роще, где всегда перекур водители объявляют. А нашли дня через три-четыре. Уже и руки собаки объели... Ужас.

Руки я вспомнил отчетливо: старого рабочего, коричневые, небольшие, со взбухшими венами и зеленоватой корявой наколкой «толя» между большим и указательным пальцами. Я представил, как «толя» исчезает в собачьих пастях, горячие слюни, клыки…

Тренер Игорек, в какой-то год обучавший нас спецназовской науке, рассказывал, как нейтрализовать собаку и отбиться от псовой погони.

– Никогда жопу собаке не показывай. Вообще не бегать и не ссать, чтоб твой адреналин не унюхали. Только передом – и на нее. Кидается – кулак ей в пасть. Собаки быстро задыхаются… Если здоровая – немецкая овчарка или там кавказец, – бросайся сверху и старайся подмять весом. Горло грызи – человечьи зубы еще какое оружие. Собака – тварь с психикой очень жидкой, мигом сломается… – Игорек стремительно показывал бросок телом на мнимую собаку и по-волчьи скалился.

Уроки тренера понадобились в первой части – психологического давления на злых друзей человека, вторая, активная, почти не пригодилась.

Маме я, конечно, задал полагающееся количество сумбурных вопросов-восклицаний.

– Ну, какие причины? – горевала она. – С Татьяной Санной они не очень хорошо жили… Да и в стране, сам видишь, такое творится. А он тоже в перестройку из партии взял и вышел. Мы с отцом не пошли на похороны, кто мы им? да и тяжело всё это. Говорят, народу битком было. В закрытом гробу хоронили.

Я заметил, пожившие люди, для которых гробы сделались рутиной, считают давно не количество, а качество. Богатые гробы. И закрытые.

Тещину рощу я тоже вспомнил; возвращаясь на дембель и досадуя на медленность пути и остановку именно там, в Тещиной, торопливо курил и смотрел на часы. Водитель автобуса проникся и процитировал из дембельского шансона:

– Отслужил, слава тебе, господи, отслужил? Ничего, братан, через час двадцать дома будешь! Ради одного тебя под сто дам на трассе…

При этом он одобрительно посмотрел на мою парадку с латунными буквами, позументами и полным набором значков, начиная с «гвардии», на которую я, строго говоря, права не имел.

Дембельнулся я в 90-м году, Анатолия же Григорьевича нашли в этой Тещиной роще через три года. Летом 93-го? Да.

Прошли еще годы, много, и в стране учредили Общественное российское телевидение (не листьевское, а другое, после Болотной). В «Фейсбуке», как и положено, долго это обсуждали, переходя на личности – свои, не телевизионные. ТВ меня не интересует ни частное, ни общественное, ни даже в Интернете с тех пор, как пару лет проработал обозревателем телевидения в областной газете, не имея при этом дома телевизора. Да что там –   
и дома настоящего не имея…

Но имя нового теленачальника я запомнил: Анатолий Григорьевич.

Нашел в Сети и рассмотрел его физиономию – и она меня вполне удовлетворила сочетанием простоты, объемов и старческой кичливости.

Мне представляется, что как раз такие имена-отчества, не самые распространенные, но и не экзотические, программируют и жизнь, и судьбу. А вот экзотические чаще указывают на родительскую дурость или географию. Знал я одного Савву Куприяновича, а другого – Николая Ксенофонтовича. Ну, понятно, что оба вышли из деревень старообрядческого пояса по Иргизу, а дальше сложилось по-разному. Савва Куприянович пал в городской войне 90-х и на аллее братков городского кладбища выделяется не памятником – они там все большие и одинаковые, – но именем, на фоне Эдиков, Сергеев, Саш и Асланов.

Ксенофонтович работает мелким телевизионным стукачом, в процессе службы, видимо, полагая, будто совершает крупные разводки.

Анатолием Григорьевичем звали моего школьного учителя истории. Он, похоже, любил меня, и это важно, поскольку, кроме родителей, меня любил он да еще тренер по дзюдо Игорёк.

Обоих уже нет на свете, и трудно сказать, кто для меня важнее.

Предмет «история» начался у нас в пятом классе, и мы, мелкие и еще почтительные, звали меж собой учителя «Анатолием».

Тезка Мариенгоф сетовал: «Анатолий» из гламурного, салонного имени сделался в советской России совсем простецким, пролетарским. Это верно: француз «Анатоль» стал в семейном варианте «Толиком», а в застольно-гаражном – «Толяном». Толик Франс и Толян Курагин…

Учитель истории носил фамилию «Фоменко» (а нынешний теленачальник –   
Лысенко, а еще был у меня один знакомый Анатолий Григорьевич, перестроечный газетчик – тот Сабадаш: в каких миргородах им давали обсуждаемое имя-отчество?) и действительно, как и все в нашем городе, происходил из проле-  
тариев. И, поскольку принадлежал к регулярному типу рабочих-книголюбов, то, отслужив, плюс вечерняя школа и партийная линия, окончил заочно истфак областного университета. Но человек был явно не карьерный, это, как и пролетарское прошлое (вечный запах табачной копоти, мутно-зеленая татушка «толя», сиреневые вены на руках и шее), легко считывали даже мелкие мы.

Было у них, с одним моим родственником и другими знакомыми мужиками, даже какое-то штрихпунктирное лицейское братство по ремеслухе.

В дальнейшем мы узнали, что вся старшая школа зовет нашего Анатолия «Антошкой» – полулюбовно, полууничижительно. И этот герой детской песенки – «пойдем копать картошку» – отчего-то очень подходил его вечному пиджачку в шафранную полоску плюс лысинка, немножко тусклой седины, вострый нос, изобличающий одновременно простоту и хитрецу. Тут он бессознательно копировал своего кумира Владимира Ленина.

Конечно, он выделялся в педагогическом коллективе. Хотя – сейчас я понимаю – это была никакая в большинстве не серость, а люди вполне себе незаурядные. Каждый по-своему. И многие тоже коммунисты.

Математичка Глафира Яковлевна (о! вот экзотика – три года ищи – едва ль обрящешь кого с таким паспортным имя-отчеством) придумывала проекты дискотек (тогда еще – вечеров) с уклоном в свой предмет: доказываешь теорему – получаешь право пригласить девочку на танец. А когда нам, первым, ввели предмет основы информатики и поставили на него математических учителей, Глафира Яковлевна, ничего в основах не понимая, вышла из ситуации не без изящества: а) заставила приобрести карманные калькуляторы (уже, кажется, и даже отечественные; впрочем, всё равно их «доставали», другое дело, что большинство нас игнорировало калькуляторный шопинг). И б) все часы нового предмета рассказывала о своих бывших учениках, ставших уголовниками. С учетом контингента городка и, отдельно, родной семнадцатой школы, плюс наши наводящие вопросы, Глафире Яковлевне хватило школьных легенд как раз на весь курс нового предмета.

Помимо информатики нашему школьному призыву достался и пилотный курс «Этика и психология семейный отношений». Мы его, естественно, предвкушали. Улыбочками, перемигиваниями, посматриванием на одноклассниц и учителей – дескать, ну чего вы нам здесь нового?

Интим не предполагать – читать семейную этику с психологией вызвался тот же Анатолий Григорьевич. В аналогичном ключе, с апелляцией к школьным уголовникам, антисоветским диссидентам и собственным домашним историям. Супругу свою Антошка вежливо звал «моя половина»; она, габаритная Татьяна Александровна, работала в нашей же школе, чтобы потом сделаться ее директором. Брак у них был вторым и поздним, и сын Татьяны, пухлый Валерка, был «не от Антошки».

Школьная жизнь шла, с Антошкой и без, меняясь от смерти к смерти. Когда скончался Л.И. Брежнев, общешкольное собрание имело место в актовом зале. Было торжественно, жутковато и душно. Не снеся напряжения, в обморок рухнул знаменосец Устин вместе со знаменем, будущий бас-гитарист и офицер, а также толстая Таня Бабенко из нашего класса (не знаю, кем она стала). Смерть Ю.В. Андропова отмечали уже в спортзале, и никто не упал. В следующий раз что-то похоронное привычно носилось в спертом школьном воздухе, и Слава Ларик, изгнанный с урока в рекреацию, вдруг засунул в дверной проем физиономию, по которой безошибочно угадывался будущий шнырь подшконочный, крикнув:

– Черненко сдох!

И страна стала другой.

Тому же Славе Ларику Антошка пророчил:

– Я на двести процентов уверен, Ларик: это сейчас ты шалберничаешь и прогуливаешь и школа тебе до одного места, а через пару лет, если не посадят, в первых рядах с пьяною рожей прибежишь на вечер и будешь тут гундеть (Антошка соединил в интонации нахальство и придурковатость): «Р-родная школа, чё!» Так вот: не пущу на танцы, и не лезь. Скажу: шуруй отсюда.

Пророчество, разумеется, сбылось, впрочем, по-другому и не бывало. У Славы Ларика имелся к Антошке собственный копеечный счет: Антошка изъял у него, спикировав коршуном, «порнуху». Три или четыре карточки из распатроненной колоды, которые Слава, тихонько вытягивая из внутреннего кармана, снова и снова рассматривал, дыша, в пиджачных недрах. Ну и понятно, увлекся.

Вообще охотник за «порнухой» Анатолий Григорьевич был выдающийся: думаю, у него по итогам педагогической деятельности, собралась целая коллекция этих разрозненных, третьими-четвертыми копиями, мутных, как рентген, картинок, где более-менее угадывались разве что сиськи, если большой размер, а промежности сливались с общей лохматостью фона – диванов с ворсом, ковров, портьер…

На адский градус нашего возбуждения качество, однако, не влияло.

Ларика «за порнографию» поставили на учет в детской комнате милиции, тоже ничего выдающегося, если он горевал, то из-за двусмысленной «статьи», хотя вполне могли притянуть за воровство по карманам в школьном гардеробе.

Детской этой комнатой пугали, но больше по привычке, даже наша школьная компания из ребят относительно благополучных коллективно попала на учет. За избиение физрука Пал Петровича по прозвищу Палпет, а значит, и Пол Пот. И хотя каждый из нас успел наехать на козла-физрука по отдельности, коллективно мы устроили ему классическую приютскую тёмную в раздевалке при спортзале, предварительно украв темную, плотную штору из лаборантской. Тугой полпотовский живот ощущался и под шторой, амортизировал кулакам, тем не менее результат был достигнут – физрук натурально плакал, а на следующий день уволился.

До сих пор не знаю, гордиться или стыдиться этой республикой Шкид в семнадцатой школе, и на всякий случай не делаю ни того ни другого.

Кстати, Анатолий Григорьевич был одним из немногих, кто защищал нас на педсовете и помогал замять дело по ментовкам. Как и положено, не одобрял методов, но утверждал, будто физрук сам без конца, особенно тем, как вел себя с девочками, провоцировал старшие классы,.. А они у нас сложные, не обычная шпана наша дурная, а умные, развитые ребята; начитанные, кавээнщики, разрядники. Поломаем сегодня жизнь…

К чести учителя истории, личных резонов здесь у него вовсе не имелось: классным руководителем он был не у нас, и вообще на тот момент мы с Антошкой находились в ситуации жесткого мировоззренческого противостояния.

До перестройки Антошка как педагог идеологический давал обычную советскую нуду (или, как красиво говорит один мой знакомый мэр города, –   
«риторику»), разбавленную, впрочем, до приемлемости и легкой усвояемости его народным темпераментом, всё той же школьно-криминальной мифологией и полемикой с диссидентами-антисоветчиками. Сведения о которых были почерпнуты, как я сейчас понимаю, не только из журнала «Человек и закон», в провинции страшно популярного, но и без вражеских эфиров не обошлось.

Собственно, от него я услышал имена Сахарова и Солженицына. Не впервые, отец просветил чуть раньше, и соединение домашних разговоров и школьного знания приятно освежало, подключало к мировым сетям.

Владимира Ленина любил горячо, но чувствовалось, что высшего градуса этой любви достичь удалось давно, а ныне, вопреки физическим   
законам, получается поддерживать нужную температуру. Как для рок-идола, период поклонения которому прошел, а теперь он просто часть тебя самого; его манеры и мысли копируешь скорее бессознательно.

Умел порассуждать, это уже в старших классах, о партийных оппозициях, ошибках Троцкого-Бухарина, подробно – по скромным возможностям источников – критиковал идеи неискренне проклинаемых вождей. Думаю, это был единственный на тот момент в стране школьный учитель, пытавшийся вновь, как тренер ключевой футбольный матч, разобрать судьбоносные дискуссии двадцатых.

К месту цитировал Маяковского – не канонического и даже не раннего, а рекламно-прикладного плюс сатиры про бюрократов, где рифмованная штамповка как-то неуловимо переходила в пророчества. Хулиганил:

Если хочешь быть сухим в самом мокром месте,

покупай презерватив в Мосрезинотресте.

Звучало оглушительно, мы и глохли, сраженные.

Потом, уже в перестройку, Маяковский исподволь вытеснялся у него Высоцким, как, впрочем, и повсеместно.

Как-то слишком уж лично, а не идейно и партийно, занимал его Бог. На школьную публику он выносил свои внутренние с Господом дрязги, и даже нам казалось, что для антирелигиозной пропаганды это слишком громко, запутано и причудливо, как затянувшиеся родственные дебаты о наследстве. И чем жальче наследство, тем ожесточеннее и длиннее аргументы.

Антошка, безусловно, коммунистом был правоверным, советским патриотом безоглядным («Парни, скоро в армию. Я бы на вашем месте просился в Афганистан»), в апологии нашего строя и песен он доходил до прохановской дремучей поэзии, но вот сталинистом точно не был.

Надо сказать, сталинизм во многом сродни антисемитизму. По уровню географического распространения. В столицах плотность зашкаливала, в университетских городах – пожиже, но вполне ощутимо, а вот у нас на окраине – не бывало ни того ни другого. В смысле как сторонников, так и противников. Евреи, нечастые, но существовали, а вот антисемитизма –   
ноль. Сталина периодически вспоминали, вывешивали в «жигулях» и смотрели в военных киноэпопеях, но как-то не обсуждали.

Перестройка, помимо всего прочего, резко надула в провинцию всю эту отчаянную столичную недоруганность по советским вопросам. Маленькие люди, стряхнув начальное оцепенение, хищно задумались: о чем бы нам, сейчас и здесь, поскандалить, устроить раскол общества и против кого не дружить.

Журнал «Огонек», натурально, сделался хедлайнером. («Московские новости» к нам не доходили, но сталинградская пресса кое-что из них, особенно про Сталина, перепечатывала).

«Огоньковская» статья про неведомого ранее, но, оказывается, такого выдающегося и замученного, чудесного латыша Яна Рудзутака. Интервью Федора Раскольникова и письмо жены Бухарина. То есть письмо Раскольникова Сталину и письмо же Бухарина, которое жена, заучив когда-то наизусть, полностью продиктовала в интервью… И повальное горбачёволюбие, которое пока не колебали даже многоярусные очереди с убийствами у единственного уцелевшего в городе винно-водочного магазина в цыганском поселке (в народе – «у Будулая»).

Нынешний поп-сталинизм – из той же категории родственников. В Сталинграде, в верхней части Мамаева кургана открыли музей Сталина.   
В общем помещении – чернозеркальная двухэтажная стекляшка – с дорогим ресторанчиком и лавкой сувениров. Музей как бы народный – и народом-учредителем сработал местный коммерс, судя по интерьеру, отчасти и бандитского направления. Посетителей встречает экзальтированная тётька, стремительно переквалифицировавшаяся из пьющих продавщиц-подавальщиц в ретивые смотрительницы. Всех, пока продает недешевые билеты, ревниво тестирует на знания о вожде.

Музей: три подвальные – типа бункер – комнаты, засеянные (с большими проплешинами) самым обыкновенным печатно-плакатным барахлом. Видимо, из сувенирной лавки – артефакта ни одного. Экспоната, строго говоря, тоже. Гостей встречает восковая фигура в ядовито-зеленом френче, похожая на второстепенного демона из Толкиена, точнее – Питера Джексона. В последнем зальце я наткнулся на брошюру 56-го года: доклад тов. Хрущева на XX съезде КПСС. Обрадовался за музей. Ну, думаю, хоть это здесь есть. Открыл. Там про чугун, надои, международное положение… Народ-учредитель (или его пиарщики) про доклад Никиты что-то слышал, а – закрытый он или открытый – не стал разбираться.

Везде обман. И даже не с чарующей тоскою…

Антошка, кстати, первоначально выступал противником эскалации информационных потоков, правда, сугубо из педагогических соображений.

– Вот тут народ у нас, как манны небесной, ожидает открытия второй программы. (Действительно, у нас по телевизору показывали только первую.) Но я узнавал – там все фильмы идут поздно, часов в десять-одиннадцать, когда ночь на дворе. Сейчас после «Времени» спать расходятся, а второю откроют, наших шалберников от ящика палкой не отгонишь… По утрам не семнадцатая школа будет, а спи спокойно, дорогой товарищ…

Но в «огоньковскую» стихию, он, разумеется, погрузился и «загрузился»; она его понесла, только вострый носик оставался на поверхности, повернутый, впрочем, в магистральном направлении.

– А ведь Ленин очень любил Бухарина, – говорил он, подняв палец. – И Солженицын, между прочим, начинал как неплохой писатель. Я помню, как читали его первую вещь в «Новом мире», в очередь в библиотеках записывались. Я как раз срочную дослуживал, и мне в гарнизонном клубе Надежда Степановна отложила номер, жена командира, прекрасная была женщина. А у нас писали – «махровый белогвардеец». Да какой же белогвардеец, если он родился, когда война с белыми уже вовсю шла… А в лагерь-то попал за справедливую критику Сталина.

По поводу 37-го года у него сложилась оригинальная теория, восходящая, впрочем, к докладу (закрытому) Хрущева на XX съезде: якобы карательные органы вышли из-под контроля партии, подменив собой правосудие и здравый смысл.

И дальше по порядку: о великом стратеге Тухачевском, которого нам ох как не хватало в 41-м, о Берия-развратнике, после ареста которого нашли много чего («вплоть до женских трусиков!» – поднимал палец и вострый носик Антошка), о Туполеве и Королеве, которые «тоже сидели»… и даже –   
ух! – «лучше верить в Бога, чем вообще ни во что не верить».

Жил и учил он тогда вообще бурно и по последним работам Владимира Ленина – национальный вопрос, кооперация, и, конечно, «Сталин слишком груб» – устроил что-то вроде спецсеминара. Читали вслух. По заданию Анатолия Григорьевича определяли путаную ленинскую мысль. Кого он все-таки двигал в преемники. Выслушав отгадки про Бухарина и Троцкого (единичная версия – Пятаков; Каменев и Зиновьев – не вариант), Антошка, сияя, объяснял, что Ленин призывал к коллективному руководству, которое уж точно защищало бы и позволило избежать… И сам в это верил.

К тому времени относятся и наши острые с ним разногласия. Которые, впрочем, были чисто стилистическими. Касались в основном манер – поведения и одеваться. Но главным пунктом противостояния стала музыка. Современная, рок.

Для нас это было время перехода из рока вообще, в основном тяжелого, в рок отечественный (на кассетах писалось «советские» или «иностранные», «зарубежка». Был еще третий путь – «блатные», они тоже стали появляться).

Гаджеты гаджетами, но я продолжаю считать магнитофон главным изобретением века, да хоть бы по социально-политическим последствиям.

А уж распространение информации посредством магнитофона, скорость и охват до сих пор кажутся чудом, никак не меньше.

Ну хорошо. Я еще понимаю: Высоцкий, Северный. И даже Галич в глубокие 70-е, в провинции. Даже эстетско-авангардистский альбом «Аквариума» «Треугольник», который я услышал, учась 9-м классе семнадцатой школы. Или – тогда же – альбом (говорили, естественно, «концерт») «Периферия» ДДТ. С частушками.

Но откуда в том же году в том же городке вдруг – омский певец и поэт Владимир Шандриков, которого и сейчас-то мало кто знает, не скажу –   
помнит.

Дорого яичко, горбачево-лигачевская антиалкогольная кампания, а песни сплошь «про алкашей» (как выяснилось потом, так и альбом назывался, 83-го года).

«Да, я алкаш, и это не скрываю», «Стою у магазина», «В запое я уже который день, по 33-й выгонят с работы» – слушали мы эти песни Шандрикова, понятия не имея, кто поет и где автор, у моего друга Игоря Каирова в частном доме, на пограничье Второго участка и Силикатного поселка. Центром этой вселенной был пивной ларек «у бани», где распоряжался и рулил добрый урка Баламут. Нас он выделял и приветствовал:

– О, пацаны! Давай без очереди, говорю!

И в окошечко:

– Раис, пацаны мои пошли! Два по три литра, и без пены…

Уже через два года, на тех же «Вёснах» и «Кометах», слушали другого омского автора – Егора Летова.

Впрочем, героями и иконами для нас служили исполнители, которых к року отнести можно с известной натяжкой и поправкой на время. Но сказали б вы про это нам тогда, разрядникам, наказавшим козла-физрука.

Первая тройка: Владимир Кузьмин («Динамик»), Сергей Сарычев («Альфа»), Юрий Лоза («Примус»).

Чуть позади, но ноздря практически в ноздрю, Александр Барыкин («Карнавал») и старушка уже тогда – «машина». «Машина времени».

Кузьмин считался самым забойным, веселым и очень своим. Сарычев –   
гениальным музыкантом (клавишник ведь, тут серьезно) и крупным лириком. Лоза – самым загадочным; до какого-то времени никто и не ведал, что он Лоза, на кассетах писали или совсем простецкое – «Лазарев», или, с шансонно-эмигрантским привкусом – «Лозоновский». По поводу «Юрия» разночтений не было. Песня «На маленьком плоту» еще не прозвучала ни в телевизоре (передача «Мир и молодежь»? или в самом «Взгляде»?), ни в балабановском «Грузе 200». В топе были его «Веселье новогоднее», «Исполнительный лист», «Ты подойдешь большой и теплый».

Нескромные пристрастия никак не могли оставаться нашим личным делом и вкусом, ибо мы взяли за обычай шмоняться по школьным рекреациям с трескучим кассетником «Квазар». Да и вообще с ним не расставались. Хозяин «мафона» держал игрушку чуть на отлете, полусогнув локоть и картинно перебирая ногами. Вокруг него живым кольцом, как охранники вокруг проблемного банкира, располагались друзья-меломаны. Музыкальный марафон не прерывался. Разве что по необходимости перевернуть или заменить кассету. Или подзарядить батарейки, постучав их друг об друга. Еще на уроки и факультативы – хотя далеко не всегда.

Русский человек, а особенно русский педагог, остро реагирует на звук. Так же, как на буквы. Похоже, эти искусства – извлечения звуков и написания букв – являются для нас важнейшими потому, что оставляют возможность добавить в них что-то от себя – додумать, оснастить картинкой или живой эмоцией. Визуальные художества, вроде живописи или кино, воздействуют меньше, поскольку в них больше завершенности – подписью мастера или финальными титрами.

Словом, Антошка начал бескомпромиссную борьбу с отечественным роком в нашей версии, вначале слабо закамуфлированную под интерес – «давайте-ка вместе послушаем»…

Переломный был год – Чернобыль, чемпионат мира в Мексике с Марадоной, Юрий Лоза попал в телевизор как солист ансамбля «Зодчие», Володя Кузьмин стал парнем и аранжировщиком А.Б. Пугачевой. А мы добыли свежий, 86-го, альбом «Альфы» (название? Сейчас посмотрю на MP-тришнике, переслушивать, естественно, не буду… Ага, «Теплый ветер»). Сарычев тогда перешел с чуть подшансоненной лирики на тяжеляк. Не вдруг – общее перестроечное поветрие – ВИА «Лейся, песня» стали «Арией», а добры, кажется, молодцы – «Черным кофе». В хеви-метал варианте Сарычев сделался агрессивен и визглив, нам страшно нравилось. Хит «Цунами»:

Взлетают чайки в небеса, хотят от гибели спастись!

Кричат они мне с небесов: гляди, Сережка, берегись!

И, предвосхищая скорые видеосалоны, с гнусавым бесстрастием:

– Внимание, внимание! Всем, всем, всем! К нам идет цунами! Сюда идет цунами!

Антошку, думаю, смущал и заставлял негодовать не сам по себе сумбур вместо музыки, а русские слова, его сопровождавшие.

Лысинка его малиновела, неровно увлажнялась, обычно стройная речь нарушалась кудахтающими междометиями… Русский хард энд хеви приводил его в неистовство, он гонялся за кольцом меломанов по коридору и, не рискуя отобрать «мафон», надсадно заклинал выключить. Или радикально понизить звук.

Он сделался добровольным цензором проводимых нами дискотек. Попсово порочные западные сласти вроде «Модерн токинга» или «Бед бойз блю» оставляли его равнодушным, на выключение электричества в спортзале, превращенном в танцпол, «темнота – друг молодежи», реагировал вяло, но стоило диджеям перейти с диско на русский рок, Антошка, опять же не рискуя взобраться на помост и вырубить «уселки», тащил нас из мрака и марева по одному и устраивал «разговор». Пополам с истерикой.

Не уникальная, но странная фобия. Может, прозревал в русском роке прямую угрозу для своей страны и жизни? Может, не так уж и ошибался?

В итоге наши страсти даже попритерлись: мы с учителем шли ровно во всем, что касалось написания букв, и конфликтовали вокруг извлечения звуков. Наступил выпускной.

При всех проблемах отцов и детей у ныне живущих в стране поколений есть одно общее воспоминание – о гомерической пьянке на школьный выпускной.

Мы, возможно, тут стали национальным исключением с чаем, «Буратино» и танцами – поэтому резкий запашок водки от Антошки меня не то чтобы удивил, но раздосадовал. Он вытянул меня из-за ящиков колонок S-90, за которыми я диджействовал, и зазвал в кабинет истории. Полный бородатых физиономий, букв и разноцветных карт на стенах – с пунктирами и стрелками. Прочно знакомые и привычные, сейчас штрихи и стрелки указывали в непонятное скорое будущее. Анатолий Григорьевич, совершая знакомые амплитуды пальцем и носиком, обещал сказать очень-очень для меня важное.

Он был пьяноват и торжествен.

– Леша. У тебя сейчас она и начинается, жизнь. Очень непростая, хотя вам, молодым, вообще повезло – многое меняется к хорошему, приходит, наконец, настоящая правда. Страна просыпается, молодые силы… Давай-ка покурим, ничего, открою фрамугу, у меня и пепельница здесь есть. Мы о многом успели поговорить и хорошо даже, что ругались иногда… Но главное я скажу только тебе. Маркс любил повторять: ничего не принимайте на веру. Подвергайте всё сомнению. Вот и я тебя, есть такое слово, напутствую: подвергай всё сомнению!

Выходя из заросшего бородами и буквами кабинета, я, помню, мысленно пожал плечами эдакой марксовой и антошкиной пошлости. Осталось, впрочем, от напутствия смутное, беспокойное и снисходительно-стыдное чувство. И водочный запашок.

Через пару, что ли, недель я отвез документы (в характеристике честно фигурировала расплата над козлом-физруком, в аттестате – тройки, в справке из спортклуба «Патриот» – второй взрослый разряд) в университет чужого областного города. На истфак, где был конкурс в десять-двенадцать человек на место и квота для медалистов и отслуживших афганцев. Я, однако, до этого не задумывался ни о конкурсе, ни о самом истфаке –   
будущее если и представлялось, то никак не академическим. Танцами на грани весны, как в альбоме БГ «Дети декабря», который я много слушал в то лето.

Знал, что точно уйду в армию, где продолжу тренировки и научусь, наконец, играть на гитаре.

На заочное отделение истфака я прошел, стремительно там обзавелся старшими друзьями, ребятами с опытом, девушками, ленинградским рок-клубом и евангелизируемым Булгаковым и очень обрадовал Анатолия Григорьевича. Он ознакомился со списком контрольных и пообещал помочь – «литературы у меня много». Снабдил пачкой книг, среди которых была «Боярская дума» Василия О. Ключевского в дореволюционном издании (еще одна наша общая привязанность – к бунташному веку Алексея Михайловича, от Соборного уложения до хованщины). Я честно продирался сквозь яти, пока не забросил это дело в преддверии армии.

…Армейский отпуск – одна из самых скучных историй на свете. Особенно отпуск в декабре, за пять месяцев до дембеля. Предвкушаемая за КПП карнавальная ночь с гитарами, пивными канистрами и девчонками в трусах и мини – рассеивается, как мираж. Уступая законное место промозглому вечеру и дурному страху перед патрулями.

Дома еще хуже. Индивидуальные развлечения в тот год резко сменились коллективными, а мой коллектив тянул ту же армейскую лямку либо готовился к сессиям по областным городам. Подруги очутились замужем, а тех, кто якобы ждал парней, окружила вдруг густая и непроходимая стена сплетен. Я, впрочем, как водится, попал с корабля на бал, то бишь на свадьбу одноклассника в ресторан первой категории «Комета», где, взрезая молочного поросенка, от неловкости уделал несколько бальных платьев. И, естественно, ко второй половине торжества успел глубоко напиться.

Но главным потрясением стало полное отсутствие взаимопонимания, как будто я, плохо обученный шпион, пересек границу и обнаружил, что здесь говорят на незнакомом языке слов и жестов. (Нечто подобное я ощутил недавно, путешествуя по Албании.) Мне было что рассказать, а меня понимать никто не хотел и не собирался.

Я мог говорить о боевых дежурствах в подземном бункере, когда сменный радист закосил на аппендицит и ты неделями не видишь солнц и небе, спишь сидя в наушниках; записываешь контрольные донесения, научившись не обрывать снов про гражданку и не промахиваться мимо пепельницы. О свинцовых казарменных буднях, которые давно не кажутся мерзостями, а комфортным и налаженным бытом. О сапогах гармошкой, подшивах ромбом, мордах кирпичом. О шарах и шпорах, которых по каптеркам вживляют в молодые половые члены посредством заточенной алюминиевой ложки. О самоходах в деревни, которые почему-то в армейских наших краях называются «отделениями», про огненногубых девок, которые делят солдат не по призывам, а по тому, кто курит с фильтром, а кто – без, впрочем, фильтры удлиняются, чем дальше призыв и ближе дембель. О стрельбах из АКС-74у, марш-бросках в костюмах химзащиты и караульных байках. О капитане Сметане и прапорщике Бодуне. (От последнего я впервые услышал трактовку великой войны «если б не Сталин, мы бы сейчас пили баварское пиво».) Об ассортименте в чипках и драках за место – не под армейским солнцем, а возле туалетного крана, чтобы не торопясь, со вкусом, выстирать щеткой хэбэ… Я мог рассказать, что 131-й ЗИЛ, в кунге которого расположен наш узел связи, жрет бензина литр на километр, напеть кучу афганских песен и поделиться мудростью десятков казарменных монтеней…

А меня не слушали даже из вежливости. Нетерпеливо отмахивались газетами и ладонями. Потому что страстно желали поделиться своим. Я стал свежими ушами, дорогой добычей.

Сыпались имена: Гдлян, Иванов, «Ласковый май», Кашпировский, Хасбулатов.

Над ними возвышались Ельцин и Хазанов, который быстро выучился пародировать народных депутатов.

Неуместно яркими бумажными цветами мелькали обложки журнала «Юность».

Равно как нелепые названия «мальвины» и «пирамиды». Которые, как и всё прочее, есть теперь «на толпе» – пятьсот колов.

Нас вроде мог объединить Кавказ, о котором они только и говорили. Но у меня был Кавказ живой, с желтыми горами, синим дымом, красным небом Шуши и Степанакерта. Строгий и опасный.

А у них у всех – неряшливый, грубый, фальшивый, как будто географической картой накрыли стол и жрали с него винегрет руками, оставляя свекольные лужи…

В какой-то день, устав переслушивать доармейский винил, я напялил отцовскую норковую шапку и пошел в родную школу, чё.

Подгадывал к окончанию уроков, но Анатолий Григорьевич вызвал родителей какого-то шалберника; кончалась вторая четверть, приходилось свирепствовать. Я обошел школу пару раз, выкурил две с фильтром сигареты, попинал снежный комок, похожий на гигантский подгнивший зуб, на футбольном нашем поле.

Антошка мне почти не удивился; буквы и бороды на стенах не изменились и не потускнели. Активист народной жизни, поэт новостных сводок, он тоже забросал меня гдлянами-ивановыми:

– Но больше всех мне Травкин нравится, – сказал тепло и застенчиво. –   
И Ельцин, конечно, мужик настоящий. На него тут покушение было, ты знаешь? Как не слышал?

И кинулся рекомендовать, рекомендовать. Совал мне в руки «Новый мир» с архипелагом ГУЛАГом и тут же отбирал – мы в семье выписываем, но тут среди учителей очередь, у меня даже график есть, у кого какой номер на руках, а в армейской библиотеке тебе, наверное, будет легче достать…

Сейчас я думаю, что бородатый старикан во френче (в восковые фигуры готовился?) никакой, конечно, не писатель или там мыслитель, а вид русского наваждения, вдруг появлявшийся с визгливым бормотом на публике – в Рязани, Шереметьево, Вермонте и Госдуме, а потом опять прятавшийся в волшебную шкатулку – «Новый мир».

– Остановили этот безумный, наконец, проект поворота северных рек! И кто добился? Писатели! Распутин, Астафьев! Залыгин, редактор как раз, «Нового мира». Они разбудили общество, не дали загубить Сибирь и Север. Крепкие люди. Они и о Боге заговорили серьезно и открыто. У нас, знаешь, во дворе, где я живу, детский сад сейчас в храм переделывают. И правильно, я считаю. Настоятель молодой, отец Сергий, очень начитанный и приветливый. Я к нему часто заворачиваю. Чай пьем, разговариваем.

Про мои дела он спросил меня единожды, чтобы перейти к неизбежному Кавказу.

– Ты в Краснодарском крае служишь? На Кавказе побывал? В командировках? И как думаешь, будет война?

– Думаю, будет…

– Нет, ничего подобного. Не допустят. Национализм – штука глупая, модная, пройдет быстро. Сказать бы им: ну и шуруйте. Наиграются и прибегут… Только б вот сейчас убрать номенклатуру, которая как сорняки корнями в страну проросла… Чтобы пришли молодые силы, бюрократизмом не порченные. Привилегиями, которыми партократы от народа отделились. Михал Сергеич, – он понизил голос, – скажу тебе откровенно, уже не тянет. Запутался. Раиса еще народ раздражает… Борьба с пьянством –   
тоже. Вот уж не подумавши… Убрали водку – дайте людям колбасу и масло. А когда ни того ни другого... Но у нас со снабжением неплохо. Сейчас моя половина на хорошем счету в гороно, мы семьей не так остро дефицит ощущаем.

Меня неожиданно и резко потянуло назад. Я вдруг понял, что у Николая Ростова была от возвращения в полк не детская, а взрослая, мужская радость. Вовсе не фантазия Льва Толстого. Я предвкушал, как, созвав в каптерку братанов, ставших в сентябре дедами, буду неторопливо распаковывать сумку, разворачивать мамины кульки, чай, конфеты, сигареты ростовской фабрики. А финальным жестом извлеку литровую бутыль дядькиного фирменного напитка «урожай-89» – под шестьдесят градусов и на перегородках грецких орехов. Как разольем понемногу в стаканы с контурными рыжими разводами. За окном, на темный плац, будет тихо спускаться благая весть нового дембельского года.

Мама попросила сделать музыку потише.

– Был в школе? Анатолия Григорьевича видел? Как он?

– Нормально. У него – политика.

– Он тебе сказал, чтоб ты ни в коем случае не бросал университет?

– Да как-то не дошло до этого. Не вспомнили…

– У него, ты знаешь, не всё сейчас хорошо. В городе же все про всех знают. Так вот, жену его, Татьяну Александровну, поставили директором семнадцатой школы.

– Антошка не говорил… Она с прибабахом вообще-то.

– Это бы полбеды. Говорят, гуляет с новым завгороно, Ухватилиным. Он мужчина молодой, к нам из Сталинграда, грамотный. Еще болтают, что – голубой. Ты знаешь, что это такое?

– Знаю.

– Вот поэтому непонятно, как уживается у него Татьяна Санна и это… Ведет себя барином, как у вас называется – по-мажорски? Черная «Волга», в «Комете» каждый вечер. Отоваривается на межрайбазе… А Татьян Санна, конечно, от власти вся еще больше с катушек съехала. Анатолия при всех третирует… А тут моя знакомая видела у нас на остановке. В такси ее мужики сажали, армянские. Поддатые, и она тоже. Кричат ей – Таньк! и хлоп по мягкому месту…

…Дембельнулся я в конце мая, к июню нас собралась какая-никакая банда. Относительно перспектив не парились, хотелось догнать и перегнать календарь утраченных развлечений. Кто-то из наших сообщил, что выпускные играют теперь не в самих школах, а снимают общепит, и чуть ли не сегодня вечером. Семнадцатая школа гуляет напротив центральной проходной текстильного гиганта, где на первом этаже, помнится, делали отличный молочный коктейль, не скупясь, в стаканы размером с пивную кружку, а на втором – реальный ресторан, с плюшевыми портьерами, бордовыми диванчиками и баром, полукруглым и блестящим, как теплоход.

Подорвались. Воспользовавшись не то третьестепенным приятельством с кем-то из выпускников, не то столь же шапочным знакомством с барменом.

Цель, собственно, формулировалась изначально – девки, а специфика семнадцатой школы тому способствовала. Мы, похоже, были последней параллелью, где сохранялся относительный баланс парни/девушки, а потом барышни всё гуще и краше преобладали. Сильный пол до выпускных классов почти не добирался, рассеиваясь по техникумам, ПТУ и малолеткам.

Странно, но проникли мы на праздник легко – видимо, физрук и русский рок были забыты, а дембель тянул на небольшой, но социальный статус. А может, то была либеральная уступка сильному девичьему лобби, которое хотело танцев и партнеров к ним.

Еще более отяжелевшая Татьяна Санна каждые пять минут дробно топотала по лестнице. «Ждет Ухватилина, обещал подъехать ненадолго», –   
сообщили нам. Глафира Яковлевна, чей класс, кажется, и выпускался, была только рада. Анатолий же Григорьевич, сопровождавший супругу и заполнявший мужскую нишу, в этот раз почему-то почти не говорил, спиртным не пах (мы даже приобнялись) и вообще как-то помелькал и пропал, навеки уйдя в себя. Нет, он оставался в зале, это я помню.   
Уводя после одного из медляков девушку Лену, я оглянулся, и память зафиксировала его согбенный, за дальним столиком, силуэт с востроносым профилем.

Мужской опыт у меня, честно, уже был, и не единичный. Отчего-то, впрочем, не индивидуальный, а случавшийся по канонам дворово-казарменного ликбеза. Популярная механика. Лену – блондинка, платье в крупный цветок чуть выше крепких колен, – я повел, естественно, в подъезд. Недостаток опыта она восполняла шумным дыханием и податливостью. Сколько положено, склеивали губы, толкались друг в дружку языками, я кусал ей мочки ушей вместе с камушками, щекотал спину… Решив, что пора, приподнял платье, нашел с трусы с трогательными швами по бокам, приспустил и двинул в нее, неглубоко, пальцы.

В доармейский год я немного поработал дежурным слесарем, и мне странно вспомнился этот труд, как будто я осторожно вожу средним и безымянным между резиновых трубок, сочащихся теплым…

Большего Лена не позволила – заповедь «не давать (или удовлетворять по-иному) на первом свидании» сохраняет силу, кажется, и сейчас.

Страшно, кстати, представить, сколько быстрых и необходимых любовей у целого ряда поколений страны происходило в подъездах хрущевок –   
с их сизыми батареями, закопченными тылами лестничных пролетов, круглыми, у дверей, коверчиками… Еще один большой исторический балл Никите Сергеевичу. Эрнсту Неизвестному, может, не стоило по поводу хрущевского памятника монументальничать, но ограничиться женскими трапецевидными трусами на батарее. Не черно-белыми, а лучше в горошек…

…Уже понятно, что Анатолия Григорьевича я видел тогда на чужом выпускном в последний раз.

А недавно ехали с другом – профессором медицины – париться в баню. Он рулил и рассказывал:

– На ученом совете поговорил с крупным нашим психиатром. И что бы, ты думал, у них нового? Фиксируют – и массово – неожиданный контингент. Чиновников. Весь первый ряд, да и второй-третий тоже. Правительство, мэрия. Из федералов кое-кто, силовички…

– А что за эпидемия?

– Ну сам посуди. Люди к этому всю жизнь шли, и пацаны уже не юные, всем вокруг полтинника. По трупам шагали, жопы вылизывали, друг дружке на голову срали… Сдавали ментам и прокурорским. Вектор чуяли безо всякого слива. Кто-то просто места покупал. Понимал человек: присел на тему – и всё, жизнь удалась. Какие дома на полях чудес возвели –   
одно содержание по две-три штуки баксов в месяц. Это без прислуги! А сейчас главный спустил по вертикали: всё, с понедельника новая жизнь. Воровать строго запрещаю, под личную каждому роспись. Причем того, кто громче всех кричит, что не воровать пришел, а служить государству и отрасли, вообще под рентгеном просвечивают.

– Было, помнишь, после первого процесса Ходора: пили бюджет, а не сук, на котором сидишь. Теперь, выходит, концепция изменилась: вообще пилёжка отменена.

– Тогда после Ходора, а теперь – после Сердюкова. И как ребятам жить? Работу работать? Программы сочинять? так и их софинансировать нечем… Тендерами рулить за откат копеечный, и то без гарантии. Как вообще вопросы решать? Инвесторов затянуть? Так это не инвесторы, а колонизаторы. Концессионеры. Любые куски проглотят и не подавятся. Ну, дадут разок восемнадцать копеек на мороженое, от щедрот-то.

– Когнитивный диссонанс, как и было сказано.

– Именно он.

С новомодным понятием, его вещественным, материальным, прямо-таки физиологическим вариантом, я столкнулся впервые в той же Советской армии.

Происходило это два раза в год и длилось в среднем от недели до двух.

Солдатам меняют белье раз в неделю, а весной и осенью – сам формат белья. На теплое время года – трусы густо-синего цвета (особо ценились и тут же расходились по казарменным авторитетам изделия с белесыми разводами, напоминающие гражданскую варёнку) и голубая майка.

На зимнее – кальсонный комплект, белые куртка и подштанники с гульфиком, на пуговице.

Переход с трусов на кальсоны и обратно – всегда ажиотаж и оживление (хоть какой инфоповод в рутинной воинской жизни), притом что первые последствия бельевой метаморфозы неприятны и болезненны.

Солдаты, как известно – практически всегда мужчины. И справляют малую нужду соответствующим образом. Открывают кабинку, делают шаг к очку (использование писсуаров по прямому назначению было запрещено во всех знакомых мне казармах), расстегивают ширинку на штанах… А поскольку осень и белье только что поменяли, солдатские пальцы да и вообще мышечная память с рефлексами помнят, что должны тут быть трусы и необходимо отогнуть резинку. Однако резинка не обнаруживается. Вместо нее пуговица и какие-то складки. Несколько секунд паники, потом включается мозг и дальнейшее – уже в порядке. Если, конечно, иной солдат с переполненным мочевым пузырем, не обнаружив привычных вещей на знакомых местах, слегка не оконфузится от испуга. Но у большинства служивых психика крепкая.

Тем более, что никто еще не отменял гендерной мудрости: «Как ни тряси, а последняя капля – в трусы».

А вот переход с подштанников на трусы куда проблемнее. В аналогичных весенних обстоятельствах солдат помнит: всего делов – раскрыть гульфик. Пуговицу можно не расстегивать. Он и пытается раскрыть. А там ни прорех, ни отверстий. Солдат отчаянно скребет материю, а поскольку ни о каких интимных стрижках и прочих бикини-дизайнах в армии не слыхивали, испытывает ощущения весьма болезненные.

Чистой воды когнитивный диссонанс, как его описывают философы. В частности, Леон Фистингер, впервые обозначивший явление в 1956 году, наверное, после XX съезда.

«Когнитивный диссонас — состояние индивида, характеризующееся столкновением в его сознании противоречивых знаний, убеждений, поведенческих установок относительно некоторого объекта или явления, при котором из существования одного элемента вытекает отрицание другого, и связанное с этим несоответствием ощущение неполноты жизни».

Профессор между тем продолжал:

– Да, подложил Вова чувакам подлянку. Зарубежная недвижимость – боже упаси, детей отдавать на Запад учиться – ни-ни. Скоро не только жен, но и водителей с охранниками заставят доходы декларировать. И любовниц указывать… Поедет от такого крыша, как ты думаешь? В запой – нельзя, сразу нагонят. Вот дружок мой, психиатр, и рассказывает: приезжают на гору к нему ночью, после работы. Их кладут, чтобы прокапать… Кому –   
транквилизаторы, кому – сильные успокоительные. А утром – опять к станку, крышу рвать. Я хуже того предполагаю: будет, вот увидишь, волна самоубийств людей из власти. Доведут мужиков.

После профессорского прогноза сразу приехали. Хозяин бани – деревянной и дровяной, с мягким упругим паром – бывший коммерс, теперь рантье и спонсор неолимпийских команд, пляжного футбола и ночной хоккейной лиги – улыбался на крыльце, раскрыв для объятий руки. На воскресные банные вечера он любил сзывать народ разнообразный и неожиданный, на сей раз компанию нам составил кавказский авторитет, по должности – смотрящий, немногословный и седовласый.

Когда я, собираясь парить, положил ему на неровную спину веники и наклонился за ковшиком, увидел на плече авторитета выцветший до нежной голубизны курсив.

«Люби свободу, как чайка воду».

– Малолетка? – как можно небрежней поинтересовался я.

– Угу, – коротко ответил он из-под полотенца.

У Анатолия Григорьевича в историческом кабинете портретами, вспомнил и понял я позже, были представлены не столько писатели и революционеры, сколько ересиархи и еретики. Гражданские, а не церковные. Причем формат и длина бороды указывали как бы на степень и глубину ереси.

Чернышевский, Лев Толстой, Добролюбов, Короленко, Ленин.

Под одной из раскидистых бород была самая короткая в этом ряду подпись:

«Человек рожден для счастья, как птица для полета».